

Майя Никулина

БАБЬЯ ТРАВА



МАЙЯ НИКУЛИНА

БАБЬЯ ТРАВА

СТИХИ

Свердловск
Средне-Уральское книжное
издательство
1987

84Р7
Н65

Рецензент А. Л. Решетов

Никулина М. П.
Н65 Бабья трава: Стихи. — Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1987.— 128 с., ил.
50 к. 5000 экз.

В книгу вошли избранные произведения разных лет, а также новые стихи. Лейтмотивом книги стала борьба за мир на Земле, за счастье, за право любить, трудиться, растить детей, не зная горечи войны.

Н $\frac{4702010200-012}{М 158 (03)-87}$ 58-87 ББК 84Р7

БРАТСКОЕ ПОЛЕ



* * *

А если посмотреть со стороны:
что проще счастья —
                    полдень за оградой,
высокий дождь, внизу по черным грядам
сияют голубые кочаны.
И весь благословенный материк,
весь разом — от Керчи до Тарханкута —
в дожде и солнце виден так, как будто
он на глазах торжественно возник
из времени, где в первобытной влаге,
в растительной и каменной крови
дозрели кристаллические знаки
безвыходной печали и любви.

Давно убрали хлеб и виноград.
Что дольше счастья —
                    северные птицы
слетелись помолчать и подкормиться
и до весны уже не улетят.
Мой лучший друг у каменных ворот
стоит живой, веселый и смеется,
он верит звездам в глубине колодца,
он даже до тепла не доживет.
Но так омыт ликующей водой,
и я лечу по вымытой аллее,—
какая радость — я еще успею
обнять его перед такой зимой.

Горят огни на дальнем берегу,
твердеет воздух,
ласковые дети
по снегу мимолетному бегут —
что, кроме счастья, есть на этом свете.
Растут к воде тяжелые сады,
цветет трава на дорогих могилах,
ночами судьбоносные светила
восходят из недальней темноты
и пылью опадают золотой.
И птицы улетают, прилетают,
пустые ветки крыльями качают
и вертятся над самой головой.

* * *

Мы тоже лес, цветы и травы в поле.
В нас та же тайна, суть и благодать.
В конце концов, совсем не наша воля,
кому нам петь и руки целовать.

Я, поднимая на тебя глаза,
уже вступаю в сговор с небесами,
широкий понт качает паруса
и чудится за ближними домами.

Не зря же небо испокон веков
томит и мучит мыслью о полете,
и лодочка у зыбких тростников —
почти напоминание о флоте.

* * *

Наперед земных чудес,
до рожденья и начала
белый город Херсонес
поднимался у причала,
и гудел колонный лес,
набирая свет и силу,
подпирая парусину
севастопольских небес.

На другом конце страны
лес зеленый и сосновый.
За неделю до войны
братик мой белоголовый
неумелый зубик свой
погремочком точит пресным,
баба Саша над грядой
реет ангелом воскресным.

Голубые дерева,
одуванчики у речки,
у далекого крылечка
светлячковая трава.
Колыбельные слова,
занавесочка сквозная,
мама нежная жива
и смеется, как живая.

Посреди жестоких лет,
посреди грозы военной
варит бабушка обед
для сирот неубиенных,
варит бабушка кормежку
обездоленной стране,

севастопольской родне,
уцелевшей от бомбежки.

Угрожает злой беде —
гряды черные копает,
белый город поднимает
на крапиве-лебеде,
в довоенном чугуне
шарит бедной поварешкой,
варит бабушка картошку,
погибает на войне.

Ночь
на 22-е июня 1941 года

Летние поезда
катят без опозданья,
точно по расписанью
в южные города.

И, завершив поход
по чужедальним водам,
к сроку вернулся флот
к береговым погодам,

встал в голубой залив,
в каменный Севастополь,
пушками укрепив
береговой акрополь.

Черная синева,
звезды над бедным садом,
слышно, как за оградой
мерно растет трава.

Слышно, как по стене
ищет опоры ветер.
Бабка стоит в окне —
тихо па белом свете.

Долгая тишина.
Спят корабли и люди.
Скоро взойдет луна.
Тише уже не будет.

Неизвестному защитнику Севастополя

Возлагаются цветы.
Преклоняются знамена
над тобой.
И если ты
не помянут поименно,

значит, без вести живой,
не нажив судьбы отдельной,
стал единственной судьбой
белой бухты корабельной.

Посреди войны народной
жил, как все, и пал, как все,
встав повзводно и поротно
в оборонной полосе.

Это кровник мой бессрочный,
безымянный, молодой,
с самой краткой,
самой точной
среднесписочной судьбой —

морем прибыл,
в землю убыл,
в поле братское зарыт,
ты из города не выбыл,
ты не умер,
ты убит.

* * *

Сохнет на камне соль,
море о берег бьет.
В сердце такая боль,
будто уходит флот.

Парусный, молодой,
яростный, как тоска,
выпростав над водой
белые облака.

Просто глядеть вперед
с легкого корабля.
Он — еще весь полет,
мы — уже все земля.

Нами уже стократ
вычерпаны до дна
суть и цена утрат.
Только теперь догнал

юный несмертный грех —
все мы в урочный час
недолюбили тех,
что провожали нас.

Балаклавское шоссе

На месте великой тревоги,
кровавых боев и потерь —
по всей Балаклавской дороге —
сажают деревья теперь.

Сравнялись могильные кромки.
И по истечении лет
погибших героев потомки,
наследники славных побед,
ведомые долгом и правом,
печальную память земли
под общий венчающий мрамор
торжественно перенесли.

Цветы на литом парапете,
эпический бронзовый гул,
счастливые строгие дети
почетный несут караул.

А здесь только солнце степное,
высокая даль, синева,
качается полдень от зноя,
пылится и сохнет трава.

С дороги сверну и заплачу
над горькой осенней землей,
над чашей Максимовой дачи,
огромной, горячей, пустой...

* * *

Друзья мои.
Сладчайшими словами
не воротить и рук не отогреть...
Как я хотела раньше умереть,
чтоб никогда не расставаться с вами.

Поэты, голодранцы, крикуны,
живые дети смерти и войны,
последние погибшие солдаты,
ни перед кем уже не виноваты,
посмертной славой не защищены.

Оставшиеся грозно молодыми,
застывшие в ребяческой гордыне,
глядите нам, незнаемым, вослед
веселыми и страшными глазами...
Не в том печаль, что нет вас рядом
с нами,—
в помине нет...
уже в помине нет...

* * *

Бабка Катерина
рано подымалась,
по полю ходила,
низко наклонялась,

путала руками
солнечные сети,
долго выкликала:
— Дети мои, дети.

— Что ты, бабка, ходишь,
аль глаза худые,
что ты все разводишь
травы полевые?

Летом пахнет мята,
медом — медуница...
Что же тебе надо,
что тебе не спится?

— Обернулся полем
мой сынок недолгий,
далеко за Доном,
а другой за Волгой,

потерялся третий
у чужого моря —
нет травы на свете
от такого горя.

* * *

Не я, не я любила этот город —
я просто в нем жила в такую пору,
что выживала им и стала им,
как все мои собратья и соседи,
сиротские и беженские дети,
пригретые избытком тыловым,

с картофельными бедными полями,
госпиталями, танками, цехами,
с нетопленой барачной теснотой,
где всех нас, одержимых и болезных,
поддерживал кормящий и железный
чистейшей пробы воздух становой.

Еще не я, не мы его любили,
мы только начинались, только были
противовесом смерти и беде,
начальной сменой в городе суровом,
мы истово паслись на всем готовом —
на кислице, ботве и лебеде.

Я тот любила, я тому служила,
я навсегда его провозгласила
немеркнущей звездой в моей судьбе...
Грешно любить себя в такое время,
и, честно разделивши все со всеми,
грешно и страшно вспомнить о себе.

* * *

В горчайшем и победном сорок пятом,
когда весна сбывалась на Земле,
из окон тыловых госпиталей
на нас смотрели юные солдаты.

На нас — голодных, яростных, худых,
в синюшных пятнах, цыпках и коростах,
всезнающих, в обносках не по росту —
на судей и наследников своих.

Мы тоже жили в прахе и золе,
и все-таки мы были не такие —
не выжившие чудом,
                              но живые,
рожденные для жизни на Земле.

Они не отрывали страшных глаз
от наших грозных лиц,—
                                    уже свершилось —
расстрелянное время распрямилось,
вдохнуло смерть и выдохнуло нас.

* * *

Прощание. Голос трубы.
Рукою машу через силу —
такая обида, помилуй,
легко ли так сразу забыть...

Такая прекрасная жизнь.
Такое огромное лето.
Такая любовь... Обернись,
уверуй в нее напоследок.

Уверуйте, сделайте вид,
что вам хорошо и счастливо,
засмейтесь, замрите на миг
на фоне горы и залива.

И пусть я пройдусь под конец
на этих веселых поминках
под стоны трубы и волынки,
зубами зажав бубенец.

Как будто я снова люблю
и небо, и дальние дали,
как будто я вас веселю,
а вы и взаправду не знали,

что это фотограф-мастак
услышал отбой за горами
и сделал сознательно так,
чтоб я получилась не с вами.

* * *

Пристань и город у темной воды.
Морок сиреней полночных.
Как мне добраться до этой беды?
— Катером,— скажут,— короче.

Катером, катером, с белой толпой,
вдоль берегов окаянных,
дальше души моей полуживой,
шелковой, злой, бездыханной,

дальше моих неспасающих строк...
Море внизу и в тумане,
камни стареют, мелеет песок,
сохнет трава в Инкермане.

Справа и слева над узкой тропой
круглые, частые луны...
О, не вчера ли мы были с тобой
едииолики и юны?

* * *

Я лежала ничком в жестяной отгоревшей траве,
я твой серый песок зажимала в печальной
горсти,
и железный цветок шевелился в моей голове,
и железные звезды светились на долгом пути.

За тобой, неизвестным, по белому свету
прошла,
окликала тебя, наклоняясь, у черной воды...
Только, видно, земля до того тяжела и тепла,
что надежней и жарче моей опоздавшей беды.

Кто ты, родом откуда, и как тебя мамка звала,
когда пеструю люльку качала в избе молодой?
— А надеждой звала, да защитой, да ясной
звездой,
а кровинкой да солнышком...—
щедрая мамка была...

* * *

Бабки мои, повитухи и пряхи,
все вы кормили меня и поили,
всем обласкали и всем одарили,
с первой пеленки до смертной рубахи.

Няньки мои, поломойки и прачки,
вы мне кусок отдавали последний —
только бы выжила я в лихолетье
и богатела на вдовьей заначке.

Мамки мои, водоноски и жницы,
долгие пчелы над миром гудящим,
как наклонились над полем кормящим,
так до сих пор не смогли распрямиться,

чтобы, пока еще живы и в силах,
детям хватило и мертвым осталось,
чтобы теплей и спокойней лежалось
всем неоплаканным в братских могилах.

* * *

Я осталась в живых,
но черно мое ратное поле.
Я печальная жница
чужих перезревших смертей...
Встань, убитый жених,
раздели мою страшную долю,
отмоли за меня
навсегда нерожденных детей.

Это плотью твоей
утолилась земля и окрепла,
это кровью твоей
захлебнулись лихие бои.
Стали тише золы
и седее бесплотного пепла
твои черные вдовы
и светлые девы твои.

Встань, убитый солдат,
погляди на сестер своих бедных,
закричи на весь свет —
оживи этот страшный покос.
Ты уже победил.
Но знамена великой Победы
навсегда тяжелы
от моих незаслуженных слез.

* * *

Ветер повеет сластью медовой,
прелью болотной, травой перестойной...
А на деревне все девки да вдовы —
вроде бы тихо, да не спокойно.

Бабка ведром на крыльце погремела,
шорканый веник приткнула у печки.
— Ты бы, молодка, в избе посидела —
вон как русалки балуют у речки.

– Что же ты, бабка, от них бережешься —
время прошло и беда миновала.
— Ох, не от всякой беды упасешься,
да и от счастья радости мало.

Скажешь, что горе — тоже до срока...
Время далеко, а омут под боком...
Может, и правда, пропащие души,
только все тянет плакать и слушать —

вот и жалеют, что боль отгуляла,
что холодна им речная могила...
Черного хлеба им не достало,
горькой цыбули им не хватило...

* * *

Снится, снится, снится
людям тишина.
Длится, длится, длится
страшная война.

Смерть грозит и лает
из стальной норы.
Брат мой умирает
у Сапун-горы.

Ровно тяжелеет
полдень золотой,
черные траншеи
заросли травой,

солнце заливает
тихие дворы...
...Брат мой умирает
у Сапун-горы.

С белой колокольни
памяти моей
неизбывной болью
разбужу людей,

подыму, стеная,
целые миры.
Брат мой умирает
у Сапун-горы!

Сердце замирает.
Остывает взгляд.
Брат мой умирает.
Умирает брат.

И ревут над нами
мирные года,
чистые, как пламя,
память и беда.

* * *

Все мы вышли из войны,
и железного настроя
инфантильные герои
детством не защищены.

Все мы дети матерей,
самой черной вольной волей
принимавших злую долю
для мужей и сыновей.

Прахом в землю не легли,
и, сменивши поколенье,
свет страданья и терпенья
в личный чин не возвели.

Виноваты без вины
перед теми, кто не дожил,
безымянны и похожи
все мы вышли из войны,

не нажив своих примет —
только общие приметы —
похоронки, флаг Победы,
черный хлеб и белый свет.

* * *

Оседает деревянный дом,
старится старуха за окном,
старятся портреты на стене —
сорок лет сравнялось по войне.

Сорок урожаев отошло,
сорок зим ручьями утекло,
сорок весен обронили цвет —
по войне сравнялось сорок лет.

Светится старуха у ворот,
никого она уже не ждет,
выстыло ненужное жилье,
выболело сердце у нее.

Всех своих детей пережила,
как земля, темна и тяжела,
так стара, что некуда стареть.
Не дает ей память умереть.

* * *

Млечная дорога. Звездный путь.
Легкая крупа под облаками —
ласточкам над синими морями
надо же кормиться чем-нибудь.

На исходе длинного моста,
где-нибудь за Кипром или Критом,
надо же укрыться под защитой
светлого небесного куста,

переждать лихие холода,
поклевать несеянного хлеба
и опять немереное небо
повернуть до старого гнезда.

* * *

Скрипнула дверь. Ничего не пойму —
кто это шарит в родном пепелище,
кто это душу вчерашнюю ищет
в темном, забытом, далеком дому.

То ли мой юный мифический дед —
легкая поступь, литые погоны —
встал на мои поминальные стоны
из глубины заколоченных лет.

То ли железная бабка моя —
бархатный взгляд, соболиные брови —
вышла на запах пожара и крови
биться за правду семьи и жилья.

Или, восстав из недавнего дня,
в долгой заботе о хлебе воскресном
розовой манной — земной и небесной —
мама вернулась усилить меня.

Все для того, чтоб светла и кругла,
дочка и внучка и правнучка наша,
с детства любившая манную кашу,
в ситцевой люльке счастливо спала.

Или из ближнего небытия,
из-под воды, из-под света и камня
ищет меня и меня окликает
мертвая, павшая ровня моя...

Прощание с Севастополем

Конец сезона. Долгое ненастье.
Испарина на гулких площадях.
Предчувствием ненужного несчастья
сжимает горло.
Сохнет на губах
густая соль несказанного слова...
Как будто поезда и корабли
отпрянули от сердца и земли
и обнажили берег и основу.

И белый город, сбывшийся во мне,
гудел, как время, свыше и извне,
стекал к воде и поднимался в гору,
жестоко обступал со всех сторон,
как высший суд и как земной закон,
и был, как жизнь и как могила, впору.

Упало небо тесного вокзала.
Бегучий свет разлучного огня
пылал на рельсах.
И судьба кричала
вокруг меня и впереди меня.

* * *

Время твое отошло и ждет.
Имя иссякло и опустело.
В низкой ограде трава растет —
это восходит душа из тела.

Вольноотпущеннице судьбы,
райской страдалице и жилице,
как ей не терпится воплотиться

в розовый камень, траву и птицу,
только бы к дому поближе быть.

Только б стереть роковой предел
краткой, бездумной и нежной плоти...
Долго и горько из наших тел
осиротевшая боль уходит.

И не умея оставить нас,
вдруг обступает апрельским садом
и расцветает легко и рядом,
вытянув розы до самых глаз.

* * *

Ой, Сиваш, ни паруса, ни лодки,
темный берег, низкая вода —
до звезды, до горла, до пилотки —
хватит, чтобы сгинуть навсегда.

Я стою на кромочке лядащей,
на краю скудеющей земли...
Перевозчик, лодочник пропащий,
что ты там замешкался вдали?

Или ты гуляешь по откосам,
по траве, по серому песку,
или чинишь сломанные весла
сорок лет на крымском берегу?

Ой, Сиваш, свинцовая остуда,
не огонь, не суша, не вода...
Ты молчишь и правишь ниоткуда.
Я зову и плачу никуда...

* * *

Сентябрь обступает. Сгорает душа.
Уходит в тепло поднебесная птица.
Пустеет дорога. И жизнь хороша,
как утренний скверик из окон больницы.

Счастливой была и богатой была —
в свирельку свистела и в дудку играла,
построила дом и дитя родила...
Мудрец говорил, будто этого мало,
а я его, глупая, все попрекала
гордыней...
А тут и сама поняла.

Осилила ночь и встречаю зарю,
иду по исхоженной белой дороге,
и камню, и дереву кланяюсь в ноги.
— Ну как ты живешь? —
— Хорошо,— говорю.

Уж так хорошо, что скорбеть и тужить
по бедам обыденным не успеваю,
что радуюсь, смертную боль зажимая,
уж так хорошо, что еще бы пожить.

* * *

Одиссея рабы схоронили.
Помолчали над ним тяжело.
На могилу весло положили.
А наутро оно расцвело.

Под шумок погребального пира
лубенело, твердело в кости,

чтобы снова на темную лиру
и на верную мачту пойти,

а к началу второго потопа
пригодиться на парусный флот...
Не придет он к тебе, Пенелопа,
никогда он к тебе не придет.

* * *

Да что там — просто было лето,
и долгим солнцем разогрета,
душа, продута и отпета,
зашлась в случайном вираже
и сразу набело дышала,
любила, пела, причитала,
и злая осень не пугала —
ее и не было уже.

Да что там было? —
                    откричало,
наемной лодкой отстучало,
слизнуло с белого причала,
сомлело у гранитных плит.
И золотая, голубая,
сухое небо выгибая,
припомнишь —
                    вот она какая,—
над летом ласточка летит.

* * *

— Не в бою роковом,
мне от долгой тоски помирать...
А уже за холмом,
за шеломенем русская рать.

— Ярославна, жена,
голубица, кукушка, вдова,
что ты ликом темна,
что стоишь ни жива, ни мертва,

не бежишь со двора,
лиходейку-разлуку кляня?..
Ярославна, сестра,
или ты не жалеешь меня?..

Иль утешилась, девка,
дареной обновой какой,
скоморошьей припевкой,
юродивой правдой кривой?..

— Не под вражьей рукой,
не за черной проклятой рекой —
незакатной звездой
над беленой стеной городской,

от печали лихой,
рукавом закрывая глаза...
Все уходят, уходят,
никто не вернется назад.

* * *

Звездный гонец опоздал.
Тихая почта земная,
верную службу справляя,
штопает этот провал.

Осень. Сквозной неуют.
Ветер разносит планету.
Как погорельцы, по свету
бедные письма идут.

Тянутся, тают во тьме
птицы мои одиночки,
вроде поправки к зиме
или последней отсрочки.

* * *

Страданий наших долгая надсада
преобразилась в мужество и труд —
так ветер принимает форму сада,
кипящего и скрученного в жгут.

И так душа парящая моя
вплетается в обычный ход событий,
в крест-накрест перетянутые нити
единственной основы бытия.

Уже люблю свой многостенный дом
и чту его как суть свою и ровню,
пока шумят деревья за окном
и облака стучат дождем о кровлю.

Уже заметно, как сама собой
над первым криком и последней глиной
просвечивает грубая холстина,
и видно, как над крышей и судьбой

легко восходит ясная звезда,
и в знак того, что не единым хлебом
живем,
        светлеет длящееся небо,
которым мы не будем никогда.

* * *

Глазами всех солдат, погибших на войне,
я вижу эту даль, и лес за поворотом,
и белые снега, где черная пехота
прошла еще вчера и скрылась в вышине.

Страданьем матерей, тоской седых невест
я день и ночь таю смертельную тревогу,
я день и ночь гляжу на белую дорогу,
где только пыль и свет столбами до небес.

Глазами всех сирот, измеривших беду,
гляжу в глаза людей —
                                своих, живых и близких,
гляжу на белый свет, где наши обелиски
в торжественных хлебах по самую звезду.

* * *

Положу платок на камень,
наберу сухой земли,
растянув глаза руками,
погляжу на корабли,

на парадный серый строй,
многопалубные своды,
как идут они домой
в севастопольские воды.

А один ушел вперед,
выше берега и храма,
где моя родная мама
нежным облаком плывет.

И не страшно ей кружить
над высоким белым градом,
где она жила когда-то
и всегда хотела жить.

Замыкая долгий круг
переменчивой природы,
перелетные погоды
возвращаются на юг.

* * *

До самого синего моря
большая дорога ведет.
Сухой, терпеливый цикорий
до самого снега цветет.

И столько любви и согласья
в обычном осеннем труде,
что сердце не вынесет счастья
и тайно склонится к беде

в наивном древесном расчете,
где после зимы столбовой
послушная долгой природе
беда обернется весной,

зеленым добром обернется
когда-то в положенный срок.
Не зря же кругом остается
так много травы и дорог,

теченье гудков пароходных,
и в пыльных, широких кустах —
движение птиц перелетных,
зимующих в этих местах.

* * *

Я пишу ниоткуда, потому что живу нигде,
я забыла твой адрес, но письма еще доходят,
ни жива, ни мертва, не сгорела в лихой беде,
потерялась, как серый солдатик в ночном
походе.

Моя долгая верность выцвела, как платок,
мое юное горе прошло — и уже не жалко,
я прошла за тобой столько ближних и дальних
дорог
зимней птицей, жилицей, ночлежницей
и постоялкой.

Рядовую, уже никакую мою беду
непростительно было б вместить в наградные
списки —
только в общую землю, под небо, ветлу, звезду,
и уже никогда под строгие обелиски.

Прожила — ты скажешь. Не знаю.— Прошли
года,
провожала, встречала, жалела, была, сказала,
и останусь нигде, ниоткуда, сейчас, всегда
незаметной подробностью станции и вокзала.

* * *

Темна душа. Но истина проста —
сядь на траву, дыши ребенку в темя,
и свяжется разорванное время,
и вещи встанут на свои места.

И ты поймешь тоску оленьих глаз
и горечь осенеющей долины...
Но зрячий виноград так долго смотрит в спину,
что ясно видит все вокруг и после нас.

РАЗГОВОРЫ СО СТЕПЬЮ



* * *

Песок истоптан, воздух зацелован,
пучина перепахана веслом,
болеет небо золотым дождем —
земля давно под пахоту готова.

Душа готова к доле круговой,
живым ростком, пробившим толщу поля,
живой бедой, сорвавшейся на волю
и значит — переставшей быть бедой,

гудящей ветром, страстью и судьбой,
ревущей в пас, летящей между нами.
И легкий Моцарт веет над полями,
прислушиваясь к жизни луговой,

засвистывая в каждое окно:
— Люби свою счастливую работу,
просеивай привычные заботы,
перебирай тяжелое зерно.

* * *

В цветущей Отраде густые сады,
парящие запахи в уличных клетках,
тяжелые горлицы просят воды
— водички, водички —
                                и стонут на ветках.

Веселое счастье гулять без пальто
у самого моря, где — скажем — не жарко,
но все-таки вертится цирк-шапито
под завтрашней зеленью лунного парка.

Веселое дело пожить без труда,
забот, оснований и должного вида
на краткое жительство —
                                летним транзитом —
уже ниоткуда, еще никуда.

Но именно здесь, где из утренних вод
восходит земля, и двойная граница
помечена деревом, ветром и птицей,
и дерево плачет, а птица поет.

О том, что весна наступает весной,
о том, что свобода не ищет свободы,
а просто бывает
                        и ею одной
полны и звучны голубиные своды.

Севастополь

1

Вот только тут, где рядом хлябь
и твердь,
где соль морей съедает пыль земную,
где об руку идут любовь и смерть,
не в силах обогнать одна другую,

вот тут и ставить эти города,
не помнящие времени и срока,
и легкие счастливые суда
причаливать у отчего порога.

Вон посмотри — весь в пене и росе,
густой толпой, горланящей и пестрой,
седой, отяжелевший Одиссей
несет непросыхающие весла.

Вот он идет по выбитой тропе,
веселый царь без трона и наследства,
рискнувший заглянуть в лицо судьбе
и на нее вовек не наглядеться.

О эта страсть, терзающая грудь,—
земля и море, встречи и утраты,
последний дом и бесконечный путь,
и белый берег, низкий и покатый.

Светло тебе, оставленный, сиять
и сладко сниться странникам немилым...
Земля моя, кормилица моя,
какой печалью ты меня вскормила...

2

Попробуй оторви меня теперь
от этих бухт в сиянии и пене,
от августовских выжженных степей,
от моряков, погибших в Эльтигене,

от обелисков с жестяной звездой...
Ох, сколько их над миром засветилось...
Так время развело, что ни вдовой,
ни дочерью — никем не доводилась.

Так годы развели и расстоянья.
Но с каждым часом горше и честней
наследую великое страданье
от горя почерневших матерей.

И тоже признаю простую власть
большой земли с полями и морями —
в горсти зажать, лицом в нее упасть,
уйти в нее — цвела б она над нами.

Наследую последние права
любить ее, покуда хватит силы,
и матерью ту землю называть,
где отчий дом и братские могилы.

3

Чего он ждет, святая простота,
зачем он ночью ходит по проселку,
зачем поверх лилового куста
глядит, как птица, пристально и долго?
Он гол и светел, как февральский сад,
он весь в огне, в жару, на солнцепеке,

как будто чей-то промысел жестокий
его тоской сжигает невпопад,
не в силах отрешиться и забыть...

Грохочет вал отпрянувшей судьбы,
и ласточки, изогнутые громом,
уже кричат и кружатся над домом.

А молодость, как крымская дорога
среди полыни и сухого дрока,
прохладны горы, море далеко,
и кажется,— совсем еще немного,—
прольются мед, вино и молоко,
над желтой степью встанет царский
город,
тяжелый парус вздрогнет над Босфором
и поплывет, над бездной накренясь,
и молодости черная напасть
погонит нас дорогой роковой
за белой одиссеевой кормой.

Большое солнце блещет на весле,
попутный ветер обрывает снасти,
и ночью прижимают нас к земле
почти кровосмесительные страсти.

* * *

Перестояло лето. Задубело.
Замучилось в крахмальной лебеде.
Уже стрекозы сохнут в борозде.
Уже душа от счастья отупела.

И уходи. И все. И слава богу.
И северок продует пустоту,
и застучат колеса на мосту,
и время выгнет легкую дорогу.

Заблещут кони темно-рыжей масти,
тележный дух забродит по лесам.
Заплачет осень. И усталый мастер
прицелится к соседним небесам.

Разговоры со степью

1

Серая, как песок,
бабка в степи кружит.
— Это какой цветок?
— Синенький,— прошуршит,—

как водяной исток.
Матушке тяжело —
ишь, расцвела не в срок —
с дождичком повезло...

Ох не пронять дождем
эту сухую стать.
Не обороть умом,
войлок не продышать.

Только врасти травой
в ржавчину, шерсть и мех,
ухнуться головой
в живородящий цех,

не в молодую страсть —
в непроходимый зной,
и навсегда пропасть
в музыке скобяной.

2

— Где твой глубокий дом,
каменный перевоз,
где ты? —
кругом, кругом,
степью насквозь пророс.

— С камешком на уме,
с денежкой за щекой,
где ты? —
        во тьме, во тьме,
в памяти лубяной.

— С белым веслом в руке,
в узкой ладье, ко дну,
где ты? —
        в песке, в песке,
вытянувшись в длину.

Всюду,
        в ночи, в степи,
в недрах сухой реки.
Не надрывайся, спи,
горло побереги.

Всюду — кругом, кругом,
в долгой траве, в песке,
в белом известняке,
в омуте меловом...

3

Птицей бессонной в степи мечусь,
черной землей дышу.
Матушка, не о себе молюсь,
не за себя прошу.

Не отвергай запоздалый крик
ужаса моего.
Не открывай свой несмертный лик,
не убивай его.

Если и по тебе хорош,
если повременить
не получается
и убьешь —
дай хоть похоронить.

4

Цветами его засыпала,
тащила в кромешную тьму...
Ох, матушка, я ли не знала,
как ты потакала ему.

Как ты его статью прельщалась,
как за руки нежно брала,
как ты ему в ноги кидалась,
как жить без него не могла...

И то — догнала, отлюбила,
всосала в себя — не отнять,
Ох, матушка, можно ли было
уж так-то его ревновать.

5

Все горец птичий, все кукушкин лен,
все таволга да заячья капуста —
нежней, чем тихо, и тесней, чем густо,—
и до, и после, и со всех сторон,
все мятлик, мята —
все шуршит, летает,
все гонит цвет и сыплет семена,
рожает, забывает имена
и дыры допотопные латает.

Все хмель, цикорий, дикая горчица —
потатчица, прощальница, тоска,
знахарка, топяница, сушеница —
трухой в ладони, лесом у виска...

Да чем она, несмертная, сыта,
чем кормится в заботе невеликой —
все донник, журавельник, повилика,
крапива, чернобыльник, лебеда...

6

Узрев какой всесильный знак,
толчку послушное какому,
как будто через мор и мрак
живое бросилось к живому.

Бескрылое — в огонь и вниз,
безумное — еще не больно —
на волчий вой и птичий свист
из колыбели безглагольной,

под грозный плуг, под водослив,
под обжигающее пламя,
сплошной живот перехватив
оборонившими руками,

туда, где точно в свой черед
над черной пахотой и новью
душа печальная взойдет
и назовет себя любовью.

7

Укротив высокий дух,
только жаждой беспредельной,

только вытянувшись в слух,
в горло дудки самодельной,

в гуще каменных венцов
и негреющей соломы,
распознав в конце концов
утварь брошенного дома,

обратившись в кровь и мел,
перепрев под общей крышей
вместе с теми, кто сгорел
или в землю, или выше,

только вытянувшись в нить,
в корень яростный врастая,
ты сумеешь различить,
как молчит она, рожая,—

треск сухого полотна,
шелест шелка, скрежет жести,—
ты услышишь, как она
гладит слово против шерсти.

8

Попридержи себя, не торопи,
не обольщайся истиной бесспорной —
ты черный сторож на краю степи
у закромов ее нерукотворных.

Она кругом шевелится во мраке
и множится.
                        Уже со всех сторон
возносится и мечется во прахе
незримый муравьиный вавилон.

Разрушенная птичья колыбель
вросла в песок и повторилась летом.
Сейчас она зайдется синим цветом
и втянет в неумелую свирель

скорлупный треск, и мотыльковый шквал,
и долгий крик:
— Ох, матушка, доколе?..
И обернется говорящим полем
рокочущий и страшный сеновал.

* * *

Гремит торжественная медь,
пиликает сверчок запечный,
томимы голодом извечным —
назвать, поверить и пропеть.

Поет неистовый певец
до боли, до тоски, до пота,
до смерти, может быть... да что там —
была бы песня, наконец.

Вот для того-то и поет,
чтоб ты смутился и опешил
перед случайным, одолевшим,
берущим душу в оборот.

Чтоб ты прислушался — шутя,
чтоб ты опомнился — впервые,
как неразумное дитя,
узнав про тайны родовые...

Но даже принимая срам
всей этой муки подневольной,
как сладко замереть от боли,
пустой тростник прижав к губам.

И, нежно повторяя стон
земли безводной и безгласной,
понять, как долго мы живем,
раз этой музыке подвластны,

что от единого живого
ствола шумим, и потому —
мы братья: ты, сказавший слово,
и ты, внимающий ему.

* * *

Мы-то с тобой, слава богу, не спорим,
словно до встречи во всем согласились,
и, согласившись, на свет появились,
не просчитавшись ни веком, ни морем.

Словно отмечены в тайной тетради
датой явленья и датой...—
не знаю —
страшно промолвить, но эта — вторая —
так незначительна в общем раскладе.

* * *

— Было долгое лето. Густая, как мед,
растекалась по сердцу погода.
Я с дороги свернул и дошел до ворот,
и она мне открыла ворота.

И я вспомнил горячий полуденный свет
и свечение дома и сада.
Я любил эту женщину тысячу лет
и узнал ее с первого взгляда.

— Я ему родниковой воды подала,
только он до сих пор не напился.
Я не знаю — судьба ли его привела
или он в темноте заблудился.

Сколько раз я хотела его расспросить —
он молчит и разводит руками:
он совсем не умеет со мной говорить —
только с птицами и облаками.

* * *

Зачем куда-нибудь, когда в Бахчисарай —
там теплится сентябрь в долинах
защищенных,
и лучшие места под солнцем полуденным
не заняты никем — любое выбирай.

Там внятны и легки старания зимы
и время ничего не стоящего снега
не более чем знак, склоняющий умы
к величию огня и верного ночлега,

к величию жилья на улочке кривой,
к значению семьи, работы, урожая,
к безликости любви, к обыденности рая
меж каменных опор под крышей золотой.

Там сыплется в подол сухая синева,
там все так долго есть, что хитрости
не надо,
и просто обменять вчерашние слова
на яблоки из завтрашнего сада.

* * *

Остыли тяжелые страсти,
остались простые слова...
О чем ты печалишься, мастер,
в часы своего торжества?

Недолгие светлые клены,
раскрытая на ночь тетрадь...
Замрешь ли ты снова,
влюбленный,
увидя все это опять?

Сочтешь ли, что тайно обманут?
Зачем ты за каждой строкой
струной легковерной натянут
и скручен пружиной тугой,

заласкан, замучен, согласен
на славу, молву и беду...
Ты снова сбываешься, мастер,
имея все это в виду.

За то, что в стихах, хорошея,
ликует, звенит и поет
бездомное чудо, Психея,
почтившая слово твое,

твое полуночное знанье,
рискнувшее вдруг побороть
почти родовые страданья
души, обретающей плоть.

* * *

Травой ли стать, рекой ли течь,
понять бы птиц ночное бденье,
реки упругое биенье,
ее младенческую речь.

О, только б избежать беды,
стыдясь тоски своей упорной,
входить лазутчиком и вором
в пределы леса и воды.

Но продолжаются дожди,
но снег идет, но полночь длится —

не с тем ли, чтоб забыть, уйти
и никогда не воротиться?

Не в том ли тайно повезло,
что верю трудно и нелепо,
что родственно земному лету
мое случайное тепло,

что не безверие и зло —
а сумерки и непогода...
И быть несчастным — ремесло
уже совсем иного рода.

* * *

Кончилось наше лето...
Разве тебе не ясно?
Ты не горюй, не сетуй —
осень, земля прекрасна.

Август, спаливший склоны,
тяжко сошел в низины.
Время вместилось в слово,
как урожай в корзины.

Острым, сухим и спелым
пахнут земля и небо.
Все, что цвело и пело,
стало вином и хлебом.

Что же ты медлишь, милый?
Разве в том чести мало —
жаром гулять по жилам,
перебродив в подвалах?

Не утешать украдкой,
не колдовать от скуки —
это уже к разгадке,
к свадьбе, к зиме, к разлуке...

Это совсем другое —
не к суете всечасной,
к мудрости и покою.
Осень. Земля прекрасна.

* * *

Очнешься за полночь, когда
зову тебя и жду...
Но если я твоя беда,
не торопи беду.

Уж лучше после, поутру,
пока душа щедра...
Но если я тебе сестра,
не окликай сестру.

...Пока порядок в голове,
пока рука права...
Но если я тебе вдова,
не подавай вдове.

Уйди, прожившись до нуля,
в сомнения и ложь.
Ведь если я тебе земля,
ты сам ко мне придешь.

Сад

Картофельные розы, петушки,
пионы, мальвы, ирисы и маки,
густые травы и цветные злаки,
закрученные в грузные венки.

В больших ладонях яблоки цветут,
жилая хата прорастает садом,
высасывает день из-за ограды
и удобряет золотом гряду.

Цветения немыслимая власть
лишает слов и жаром сушит темя.
Платок на тыне указует время
и место.
Чтоб душа не сорвалась.

Зимний пейзаж

Чему нас учит опыт мудрецов,
полотна стародавних мастеров
и музыки священные писанья? —
Как раз тому, что этот мир ничей,
но в жизни не бывает мелочей,
не стоящих любовного вниманья.

Вот посмотри, как выписан каток,
как разноцветен розовый ледок,
и узкий след белеет под конечком,
и как хорош запутанный узор
из лодочек, окружностей и шпор,
слагающих его поодиночке,

как дерево высокое стоит,
и веточка лиловая дрожит,
распяленная в воздухе морозном,
и как без этой веточки сквозной
пустеет даль и весь орган лесной
не пел бы столь витийственно и грозно.

И так светло дома освещены,
как будто ждут гостей со стороны
и загодя окошки открывают,
и смотрят вдаль, за синий окоем.
И называют это ясным днем.
А то и просто жизнью называют.

* * *

Огни отлетают и тают.
Гремит и гремит по степям
сплошная беда столбовая
с разъездами по сторонам.

Как омуты, тянут овраги,
и домик под крышей рябой
грозится оставить ограду
и враз обернуться судьбой.

Веселой, пастушьей, бродячей,
с простым и веселым концом...
Чего же ты медлишь и плачешь,
себя узнавая в лицо?

Ведь, если и связаны ложью
душа и летящая тьма,
ничем уже тут не поможешь
и нечего руки ломать,

и нечего жить, уповая
на то, что и впрямь хороша
прелестная, птичья, пустая,
стесненная словом душа.

* * *

Хрустнет легкая ветка — постой!
Заклубился туман над водой,
ночь догонит тебя и пометит
невысокой зеленой звездой.

Только разум отхлынет на миг,
не признав свой минувший язык,
только сердце в груди захолонет
под вороний и галочий крик.

Так ревет над тобой быстрина,
так с тобой говорит тишина
из такой глубины беспробудной,
что никто не считал времена.

Что еще не вставала трава,
и не знала предела листва,
и дугой выгибалось пространство,
напрягаясь вместиться в слова.

Вот и мы не затем ли пришли,
прахом в жирную землю легли,
чтобы в нас проросли и созрели
имена безымянной земли.

* * *

Ты бы радость со счастьем не путал:
та — прогулка, а это — предел,
безвоздушный, сухой промежуток...
Это мало кто в жизни умел.

Это разве что так, без расчету,
от избытка любви и души
обогнать свое время и с ходу
очутиться в сибирской глуши,

целовать неподвижные цепи,
холодать у тюремных дверей,
обживать бесконечные степи,
хоронить ненаглядных детей,

и за ними легко, в одночасье,
зарастать тишиной и травой,
и не мерить ни горем, ни счастьем —
только веком, отчизной, судьбой.

* * *

Любовь моя бедна —
не дарит, не карает:
последняя, она
всегда такой бывает.

Она была такой
всегда.
        Да мы не знали.
А мы ее порой
случайной называли.

Не зла, не хороша,
с начального начала,
как старшая душа
при младшей продышала.

Высокие дела
и вечное сиротство
она перемогла
по праву первородства.

Не слава, не слова,
не подвиг, не награда,
она еще жива,
когда другой не надо.

Она в последний час
присядет к изголовью,

она и после нас
останется любовью.

Задумаешь понять,
да по ветру развеешь.
Затеешь вспоминать —
и вспомнить не успеешь.

* * *

На птичьем языке, ближайшем к естеству,
на птичьем — льющемся, щебечущем,
свистящем,
поет апрель о вашей настоящей,
но все же красоте, живущей наяву.

На птичьем, не сминающем траву,
тяжелый свет свивающем в спирали,
о длящейся и рвущейся сквозь дали,
но все-таки цветущей наяву.

На птичьем, предваряющем молву,
о вашей мимолетной и мгновенной,
но все равно бессмертной и нетленной,
срывающейся в щебет и листву.

На птичьем, искушающем сложить
сухие губы трубочкой поющей,
о длящейся, мгновенной и цветущей...
О чем еще на птичьем говорить...

* * *

До ремков износили обновы,
посчитали долги и года...
Наше счастье, что город портовый,—
и легко уходить навсегда.

Непростимые беды прощаем,
принимаем тоску за обман,
умирает беседа ночная
и кусает зубами стакан.

Покупаем вино у соседа,
застилаем соломой полы —
на задворках недальнего лета
по дешевке снимаем углы.

Урожай разместили в подвале,
постирали белье во дворе —
вот и мы на земле побывали
и сгорели в ее сентябре.

В короба уложили пожитки,
поглядели в пустое окно —
южный ветер срывает калитки,
да гудит на ветру полотно.

* * *

Грешным он был человеком.
Грешным. Живым.
                    Оттого
мне до скончания века
будет беда без него.

Он как залетное горе,
как разговор в темноту,
как лебединое море —
белое и на лету.

Забытому поэту

Всю жизнь прожить в своей глуши,
в углу, в усадебной тиши,
в родне, долгах, неурожаях,
не иначе как в свой черед,
в ряду обыденных забот
о вечной жизни размышляя.

Всю жизнь прожить с одной женой,
одной судьбой, одной печалью,
привычно различать за далью
иные реки и поля
и вымыслом, звездой сусальной,
земные муки утолять.

Над заговоренной строкой,
глотая свой последний воздух,
в скупых слезах и острых звездах
схватиться за сердце рукой.

И, умирая, оставлять
в столе тяжелую тетрадь,
плоды случайного досуга,
не с тем, чтоб близким досаждать,
не гордым отрокам в науку,
а чтобы душу удержать,
когда она в последнем рвенье
себя торопится донять,
не в силах помнить про спасенье,
прощение и благодать.

* * *

И верно — нету участи страшней,
чем долго умирать в своей постели
в том самом доме, где с начальных дней
ты тихо жил...
Где плакал в колыбели,
любил жену и вырастил детей.
И все затем, чтоб нивы тяжелели,
цвели сады и множились стада,
и ни одна каленая беда,
и ни одна нужда расчетом точным
тебя не миновала в час урочный.

Куда как проще пылью на ветру,
куда как смерть краснее на миру
и духу веселей в бездомном теле,
куда как сладок грех в чужой постели
и дешево вино в чужом пиру.

Благослови же вечную дорогу —
глядишь, когда и к отчему порогу
воротишься, не ведая стыда...
Где не взойдет случайная звезда.
Коль мир безумен и отмерен век
и лучшего тельца пасут к обеду,
глядишь, и дом, что ты забыл и предал,
простит тебя, прохожий человек.

* * *

Хорошо, как в должный срок,
после скуки календарной,
светлый праздник лучезарный
нас утешит на денек.

Но куда как веселей,
если полночью нежданной
гость загадочный и странный
постучится у дверей.

Тут уж точно невдомек,
кто, противу всяких правил,
свечи ясные зажег
и, смеясь, на стол поставил.

Тут уж нечего пенять,
что за выдумщик беспутный
смеет прихотью минутной
наши души разорять.

Но ведь есть такой недуг,
зло такое, власть такая,
что молчит печальный дух,
им, безумным, потакая.

Не с того ли иногда
Николай Васильич Гоголь
без усилий и труда
выбирал, как горький щеголь,

для прогулки часовой
в каждодневном променаде
фрак небесно-голубой
на малиновом подкладе...

* * *

Двойная боль — молчать и говорить,
двойная страсть — нажить и раздарить —
наш дух равно и скряга и растратчик.
Есть соль во лжи, а в правде есть
подвох —
вот почему так ловко ловит блох
мой легковерный критик и потатчик.

А ты еще над домом покружи,
а ты в себе себя попридержи.
— Словцо не то, и музыка чужая?
— А посмотри, как ласточка летит,
трава растет и дерево шумит
веками, никому не подражая.

А ты не бойся, обуздав судьбу,
наехать на торенную тропу.
Она твоей постарше и пошире,
она тебя еще переживет,
она тебя до нитки оберет
и одного не бросит в этом мире.

И если ты, смущен и разорен,
легко услышишь медленный закон
за балаганной музыкой парада,
так это просто вечности мотив
врастает в душу, сердце потеснив,—
и это не утрата, а награда.

* * *

То малые дети болеют,
то бедное сердце болит...
Поэзия нас не жалеет —
она о другом говорит.

То поле быльем зарастает,
то рушится временный дом...
Поэзия дыр не латает —
она говорит о другом.

Но мучает страстью голодной,
но пичкает звездным огнем.
Поэзия дышит свободно,
как будто мы вечно живем.

Она обступает случайно
и кажется гордой, пока
сама не напялит на тайну
веселый колпак дурака,

пока не отлюбит живого...
Поэзия тем и права,
что, ветра наслушавшись, снова
на ветер бросает слова,

в широкую зимнюю повесть,
в густое земное вино...
Она потому-то и совесть,
что совести ей не дано.

* * *

Догнала бы обычная скверна,
источила бы звездную ось,
все равно бы расстались, наверно,
поперхнулись бы счастьем, небось.

Просто жили, минуты считали
в глинобитном тяжелом раю,
на исходе души и печали,
у веселой земли на краю.

Полотняное свежее небо,
ни звезды, ни грозы — благодать...
Ну хватило бы слова и хлеба,
а нашли бы о чем горевать...

5 Заказ 476

Письма

За черные окна гляжу,
по утренним звездам гадаю,
целебные травы сушу,
слова приворотные знаю.

А то по обидам былым
такие поминки затею,
что плачу и сохну по ним,
как будто и вправду жалею.

Но так половицы скрипят,
так тянет зимой отовсюду...
Возьми ты меня за себя —
вовек я тебе не забуду.

2

Не поздно ли счастья выпрашивать
у черных ночей декабря...
Сладчайшего имени Вашего
боюсь. Потому как не зря

так звали пророков и странников,
любимцев веселой судьбы,
ревнивой вдовой и избранницей,
целующей нежные лбы,

так звали застенчивых пленников
нечистых и горестных лет,
не вынесших тяжкого бремени
наследственных болей и бед.

К чему меня праздничным бдением
смущает большая зима,

когда я живу в отдалении
таком, что, пожалуй, сама

рождественской пылкой фантазией
украшена и рождена...
И письма приходят с оказией,
как в давешние времена...

3

Замерзает трава по ночам.
Время свадеб, разлук и сонетов...
Возле берега птицы кричат —
ничего, они тоже об этом.

Что обыден и вечен огонь
раздирающих сердце загадок
и земли разноцветный покой
перед снегом особенно краток.

Но совсем как святая сестра,
утешая меня и прощая,
все не спит и не спит до утра
неказистая птаха лесная.

Утомленная духом одним,
как творец на исходе недели...
Только что мы на птиц-то глядим...
Или так уж себе надоели,

или долгой дорога была,
или мучает к летной погоде
невеликая сила крыла,
отделившая душу от плоти...

4

Мой маленький, лебедь мой белый,
мой мальчик...
ори не ори —
живому-то я бы не смела
такие слова говорить,

не смела б любовью отходной
касаться больного ума,
когда бы не сохла сама
от муки твоей приворотной.

Когда бы не знала верней
неумной судьбы человечьей,
как просто ей нас изувечить
божественной страстью своей.

5

От страсти, от чумы да от сумы
не отрекайся... Будь она неладна,
бумажная трагедия зимы,
прелестница в костюме маскарадном.

Вольно же ей нам головы кружить,
вольно и нам топтаться в пляске этой,
покуда не довертимся до лжи
и снова не поверим ей, отпетой,

покуда не очнемся поутру,
от жалкого прозренья холодея,—
уж так ли ты мне мил, не разберу...
Уж, видно, так, коль разобрать не смею...

6

Несытая, покоя не найду.
В ночном саду трясу пустые кроны...
О свет мой утренний, о мой росток
зеленый,
зачем я руку горькую кладу

на нежный лоб, кому пророчу беды
и устилаю золотом порог,
когда ты сам собой любим и предан
и сам собой богат и одинок.

7

Экое дело —
нам на беду
птица запела
в голом саду.

В перышках редких
трепет живой
с розовой ветки
вниз головой.

Жалкого праха
теплый комок,
ласковой птахи
вечный урок.

Что же ты вперил
очи в нее,
словно поверил
в сердце свое.

Водишь руками —
крыша, окно,

дерево, камень,—
точно, оно.

Дерево, камень,
истина, дом...
Маленький ангел
с пестрым крылом.

* * *

Уж как мы тебя хоронили...
Как время, стояли кругом.
На горькую степь положили,
закрыли небесным рядном.

В пустое гнездо опустили,
лицом на недавний восход,
слова и заветы забыли
в надежде, что степь отпоет.

Но враз онемела природа.
И долгое горе навзрыд
сквозь наши остатние годы
и вдовые души летит.

* * *

Холодом тянет с реки.
С насыпи, с мокрого луга.
Снова не в меру горьки
тяготы первого круга.

Искус любви и добра,
жалость к деревьям и людям.
В книге прозрений и судеб —
нежная проба пера.

Но в предвкушенье утрат,
в тяжести вздувшихся почек,
в острой тоске по утрам
четкий, размеренный почерк,

твердый нажим и наклон...
Скоро нам станет известно
в перечне дат и имен
наше посмертное место.

* * *

Окликом дальним покой твой нарушен
и скомкан.
Адрес обратный с трудом разобрал на конверте,
словно платок свой дареный с багровой
каемкой
вдруг опознал заскорузлым от крови и смерти.

Умыслом черным не мучайся, братец мой
милый,
я твою тайну не выдам навету лихому.
Я бы, тебе угождая, себя погубила,
да не мое это дело кроить по живому.

Снова кукушка кукует над черным болотом,
завтрашних деток таскает по гнездам
приметным,
снова овражной крапивой да жгучим осотом
позарастали следы твои, братец мой бедный.

Разом отпрянули в память слова и дороги.
Это судьба по привычке тебя окликает.
Я за душой не держу ни тоски, ни тревоги —
после смертельной разлуки тревог не бывает.

* * *

Душа убывает легко,
не слышно, не видно.
Летает не так высоко...
Да ей не обидно.

Душа убывает, как свет,
июньский, приветный.
Редеет и сходит на нет...
Да ей не заметно.

Узрела заоблачный знак
и срока не чает...
Не больно, не стыдно, никак
душа убывает.

* * *

Гордости последняя твердыня.
Времени простое торжество.
— Помнишь, как мы были молодыми?
— Я еще не помню ничего.

Я еще живу твоей победой,
августейшим месяцем, теплом,
скоротечной сладостью побега,
звездами под самым потолком,

утренним сиянием колодца,
грозной правдой слова твоего.
— Знаешь, как все это отзовется?
— Я еще не знаю ничего.

Просто я иду в ночной пустыне
и уже не вижу с высоты,
как цветут в оставленной долине
черные и белые цветы.

ДОЛИНА



* * *

Утренний яблонный сад,
голый, безлистный, цветочный,
разом омыт и объят
свежестью правды проточной.

Кто это помнит? — никто.
Было ли это? — едва ли.
Жизни не хватит на то,
чтобы вторично совпали

долгий томительный зной,
жажда колодца и крова
с теплой землей, с тишиной,
с рейсом до Верхне-Садовой.

Целую душу скопить,
в маленькой давке оглохнуть,
легкий билетик пробить,
красные двери захлопнуть —

и воскресенье, весна...
Если припомнить небрежно,
как быстротечна она —
счастье почти неизбежно.

* * *

Белый камень. Красная черепица.
В черных гнездах узкие тополя.
Тяжело и натужно возносит птицу
скорбный воздух южного февраля.

Мир продут и просвечен. Блестит нутро.
Под пустой оболочкой сквозит ядро.
Под сухим водостоком гремит ведро.
На плетеной ограде горшки и склянки.
За оградой розовые кусты
в полумраке бедности и тщеты,
в полусвете зимы,
в сплошной изнанке.

На шпалерах скрученная лоза...
Почему-то тянет прикрыть глаза,
прикусить язык и убраться
за
перевал, пролив, перешеек,
чтобы
не замучила совесть за то, что ты
разглядел за легкостью красоты
простоту и отвагу рабочей пробы.

Скорбный воздух южного февраля.
По квадратам распаханные поля.
В ожидании влаги болит земля,
Пахнет скомканной глиной, сухой
известкой.

Мир еще не готов, но продуман вдаль,
и внизу, за ветром, цветет миндаль
в подтверждение замысла и наброска.

* * *

Мощеный двор. И дальше — за калиткой —
две яблони, капустная гряда.
И горечь заглушается избытком
укропа и клубничного листа.

С утра печет. Уже по всем приметам
пора дождю. А дали высоки.
И ласточки снуют и делят лето
на желтые тяжелые куски.

Тебе вон тот — он вроде посветлей.
А мне уж этот — с охрой и багрянцем,
из тех, что пробирают до костей,
а после жгут чахоточным румянцем,

что ошарашив поздним соловьем,
уврачевав шалфеем и малиной,
густой печалью наполняют дом
и проплывают криком журавлиным

поверх моей склоненной головы,
поверх земли просторной и покатой,
где воздух медленный расстрижен на
квадраты
и полон шепота и шелеста травы.

* * *

Настежь ворота раскрыла,
свечкой горела в окне.
Медленно, глухо, вполсилы
песню вела в тишине.

Выскребла сени пустые.
веник водой залила.

Медленно, горько, постыло
долгая песня жила.

— Что же ты бабу ославил?
Или худая была?
Хоть бы сыночка оставил —
я бы его берегла.

Где твоя злая дорога
канула в грозную тьму?
Хоть бы я верила в бога,
я бы молилась ему.

Тихо судьбу окликаю,
слова залетного жду.
Все-то я, пряха ночная,
черную пряжу пряду.

Только к утру тяжелеет
звездное веретено...
Бедный еще пожалеет.
Правым жалеть не дано.

* * *

До света одна посижу,
спалю новогодние свечи,
два времени в узел свяжу
и новое словом отмечу.

По белому снегу пройду,
по самому крайнему краю,
сухие кусты посчитаю
в своем повзрослевшем саду.

Взгляну, как по старым следам,
от нежного света грубея,
проходит неверный Тристан
с кровавой отметкой на шее.

И вытяну руки. И сквозь
снега, времена и наветы
увижу сплошные приметы
того, что уже не сбылось.

Так ярок и праздничен вид
окраины в снежных обновах,
так просто вмещается в быт
мираж городка ледяного,

что розовый, в светлом кругу,
застигнутый сходством невольным,
прохожий замрет на бегу,
как ангел в тулупе нагольном.

* * *

Судьбу не пытаю. Любви не прошу.
Уже до всего допросилась.
Легко свое бедное тело ношу —
до чистой души обносилась.

До кухонной голой беды дожила,
тугое поющее горло
огнем опалила, тоской извела,
до чистого голоса стерла.

* * *

Был живой и молодой
с молодыми и живыми.
А какой он был со мной?
— А такой же, как с другими.

О погоде говорил —
все старухи молодели.
По дороге проходил —
облака над ним редели.

Сентябрь

У, баловень...
горит трава,
когда он, разойдясь на славу,
сшибает лбами дерева
и мечет яблоки в канаву,

когда под высохшим кустом
дрожит испуганная птица
и желтый зной стоит столбом
над раскаленной черепицей,

когда он прет со всех сторон,
обводит лесом или полем,
когда повсюду только он —
на все его сплошная воля,

тогда уж проще не перечить.
И принимать.
Кто знает днем,
где он опомнится под вечер
и кем прикинется потом —

случайным гостем перелетным,
сверчком на розовом шестке,
полубезумным стихоплетом,
поднявшим мир на волоске.

* * *

Листом осенним руки на плечах...
Мой мальчик, Моцарт, месяц
мой багряный!
Пока оркестр на станции не грянул,
пока последний вальс не прозвучал.

Пока наш лес туманами повит,
издалека он кажется зеленым...
(О дачные недолгие сезоны,
о вечные превратности любви!)

Пока ночная мудрость древних книг
не навсегда душою овладела,
пока душа способна слышать тело
и даже понимать его язык.

* * *

За поворотом возраста и лета
земля белым-бела, черным-черна,
линяют непреложные приметы
и камнем обрастают имена.

В большом обезголосевшем лесу
просторно, пусто, ветрено и голо —
одни жизнеспособные глаголы
удерживают время на весу:

убил, обидел, разорил, ославил,
извел, измучил, руки развязал,
пришел, разделся, сапоги поставил,
согрелся, лег,
ни слова не сказал.

* * *

Тяжелые сирени за окном,
Сиреневые тени на заборе...
Цветок — на счастье, на сентябрь,
на море,
на виноград, и легкое вино —

лиловый, в пять лучей, сожму в руке,
зубами закушу и загадаю.
Чтоб до утра горчил на языке
лукавый привкус завтрашнего рая.

* * *

К чему это будничный день
так пахнет корицей и медом? —
К расплате, огню и беде
такая сухая погода.

Не зря это, милый, не зря —
то искусом счастья и славы
смущает хмельной и лукавый
неистовый бог сентября.

Предчувствие чуда и страх,
и горечь, и нежность. Сегодня
любой виноградник в горах —
почти соучастник и сводник.

Любая звезда впереди
пугает неслыханной карой...
Душа занялась. Уходи.
Свою береги от пожара.

* * *

...скажешь — непрожитый путь,
или кромешная страсть,
или какая-нибудь
злая, пустая напасть?

Этого нету. А есть
маленький город, зима,
если и впрямь — от ума
горе,
то это не здесь.

Здесь — тишина, синева,
стаи тяжелых ворон,
камень, сухая трава,
свет обнаженных колонн,

снег на далеких горах,
холод от близкой воды,
в мелких, случайных словах
содовый привкус беды.

* * *

Внезапным жаром озадачив,
проймет ненужная слеза,—
а это где-нибудь за Качей
прошла случайная гроза.

Напившись влагой поднебесной,
дозрел тяжелый виноград,
и гроздья загодя знобят
печалью праздников воскресных

и манят гостя ко двору...
Проймет слеза... А в понедельник
тоска далекого похмелья
привычно гонит поутру

кормить залетную пичугу,
глядеть, как под ее крылом
просторно дышит чернозем
и время тяготеет к югу,

взлетая тополиным пухом,
качая звездные ковши
и поднимая прозу кухонь
на вечный уровень души.

* * *

Нам весело на гибельном краю,
когда, болея, воя и пылая,
почти в аду и точно не в раю
душа несется, крылья обдирая.

Край расширяет зрение и слух,
сомнения спекаются в отвагу...
Сто лет назад один мятежный дух
заметил эту сладостную тягу

и подсказал, что больно страшен узел
любви, вражды, надежды и стыда,
и что душа избыточна всегда,
и что, спасенья ради, он бы сузил.

Он, было, опустился до попытки
вместить ее в положенный лимит,
но вспомнил, как душа себя казнит
равно за недостатки и избытки.
И потому ни мужество, ни честь
не смогут уберечь от самосуда...
Скорей всего, он просто верил в чудо —
и потому оставил все, как есть.

Катулл

I

Хмельной Катулл по городу идет...
Он болен, хмур, он долго не протянет...
Хотя еще влюблен, еще буянит
и даже плачет у ее ворот.

Спалит свои тетрадки сгоряча,
шальной бокал невесело пригубит...
— Ах, Лесбия... она тебя не любит...
Она других целует по ночам.

Еще не та, не крайняя беда...
Ну закричишь, ну, бросишь в реку камень —
и всхлипнет ночь, и поплывет кругами
большого Тибра темная вода.

Сомнет траву у дальних берегов...
И мир другой, и песни не похожи...
Но точно так же весел и тревожен
дремучий воздух вечных городов.

И люди умирают от забот,
и кони задыхаются от бега,
и вздрагивает старый звездочет,
поняв судьбу измученного века.

Вчерашние веселые бои
и завтрашний, последний и кровавый...
Какой рассвет сегодня небывалый...
О римляне, о смертники мои...

II

...взошли мои Плеяды...

Он трудно отходил.
                    И говорят,
в последний час за муками своими
не мог припомнить царственное имя
седьмой сестры в созвездии Плеяд.

Познавшего тщету земных трудов,
готового к забвению и свету,
зачем его тревожили приметы
других печалей и других миров?

Ужель душа, спаленная дотла,
последней волей память напрягая,
заботилась, чтоб правда нежилая
желанным словом названа была?

О чем он перед смертью тосковал?
Великий Цезарь, брата провожая,
седьмое имя — Майя, Майя, Майя —
зачем ему вдогонку не назвал?

* * *

Помни, помни про Лилит.
Ева стряпает, стирает,
платья шьет, детей рожает,
глазом ласковым косит.

Сводит темные зрачки,
зреет в сумрачных заботах,
на дверях и на воротах
ставит новые замки.

За воротами зима.
Не кричи под легкой сетью,
набивай надежной снедью
золотые закрома.

Укрепляй свое жилье
до указанного срока,
огораживай свое,
чтоб не вызнать ненароком,

кто выходит из земли
и уходит в землю снова,
чье неласковое слово
громом грянуло вдали.

Помни, помни про Лилит,
про ее глухую славу.
Вот и сын твой — боже правый —
не туда ли он глядит...

* * *

Не всюду ли так пусто и темно?
И ты печален, нежен и послушен...
Былых разлук горчайшее вино
легко тревожит головы и души.

Такая тайна в медленных словах
(далась мне эта горькая забота),
что губы оставляют на губах
наивный привкус молока и меда.

Прислушайся —
уже петух поет,
смеется кто-то (и тому не спится),
скрипит перо, летит ночная птица —
привычка жить покоя не дает.

И мне ли эти боли врачевать
и силой останавливать мгновенья...
Заплакать, опуститься на колени,
сухой песок в горстях пересыпать...

И вечность будет сыпаться с руки
песком горячим в пену золотую
и, вздрагивая, встанет на носки,
твое лицо печальное целуя.

* * *

Был этот вечер тих и неприкаян.
И не сулил добра.
И погоди —
не той ли ночью выпали дожди
в густую пыль измученных окраин...

А утром запах моря и травы
дурманил всех от мала до велика,
и было просто не заметить крика
и не поднять тяжелой головы.

И было просто — двери на замок,
и шторы опустить, и свет убавить,
песочные часы на стол поставить,
и даже слышать, как шуршит песок.

Апрель

Короткий, южный, скоротечный,
в слезах, горячке и тоске,
сгорающий грошовой свечкой
на сумасшедшем сквозняке,

он начинался возле дома
и был, рассудку вопреки,
сухой, шуршащий, насекомый,
взлетающий из-под руки.

И резал ухо непривычный —
еще не стон, еще не крик —
его застенчивый и птичий,
свистящий, шелковый язык.

Он мучил гриппом и мигренью
и, утешая невпопад,
вскипал трагической сиренью
возле калиток и оград.

Он гнал тюльпаны и левкои,
он явно норовил сгореть
и разразиться в сентябре
романом Дафниса и Хлои.

* * *

Когда устала страсть
от сладости и боли,
когда судьба сбылась
помимо нашей воли,

печальна и проста,
как заговор негласный,
вечерняя звезда
скатилась и погасла.

И нежный звездный прах,
нашедший наши лица,
стал солью на губах
и пылью на ресницах,

травой взошел вослед.
и люди стали выше,
и различили свет,
пылающий над крышей.

Свободны и легки
от тяжести заплечной...
И плакал каждый встречный
от счастья и тоски.

* * *

Раскидало как пришлось
самый белый цвет...
Начиналось, началось
и пошло на нет...

Так последний птичий свист
сладок и тяжел,

что сбивает мелкий лист
и пугает пчел.

Возвращается живой
к дому и гнезду,
словно видит над собой
зимнюю звезду.

Нежит призрачным теплом,
и леса стоят
в ветхом золоте сплошном
с головы до пят.

И покуда им ветшать,
падать и кружить,
лета легкая душа
продолжает быть.

От тоски темным-темна,
и прорех не счесть...
Все равно одна она
светится и есть.

* * *

А чем мне тебе угодить...
Ты август. Ты синяя птица.
И чтобы тебе причаститься,
не надо и в роли входить.

Тебе-то какая нужда
в тепле твоем, позднем и праздном,
в горячечном жаре соблазна
тебе-то какая беда?

Которое лето подряд
вот так же томили ночами,
на кухнях стучали ножами...
Теперь еще где-то стучат.

Теперь еще где-то поют,
да только протяжней и глуше.
Опять за побитую душу
по восемь небитых дают.

И я бы, наверно, дала,
да только уж так — для порядка...
Какая, однако, разгадка.
Загадка-то проще была.

* * *

Домов кружевное убранство,
рассеянный утренний свет —
такое большое пространство,
что, кажется, времени нет.

В тяжелых непролитых росах
стоят заливные луга,
стучат по мосточкам колеса,
плывут над землей облака,

плывут над большими полями,
по медленным рекам плывут.
Дождями, цветами, снегами
неспешные годы идут.

Так много травы и прохлады
и света вблизи и вдали —
идешь до соседнего сада,
а все как до края земли.

В глаза удивленные глянешь!
— Далеко ли, милый, живешь?
— А коли до солнышка встанешь,
к закату до сердца дойдешь.

* * *

Уйти и вернуться, и время вернуть,
и двери закрыть на засов,
и снова понять, как вмещается в грудь
дыханье песочных часов.

В сухой горловине застрянут года,
пространство раздвинет окно,
над нами сомкнется живая вода,
а мертвая канет на дно.

Счастливая истина первого дня
войдет и отдышит жилье.
И я закричу:
— Посмотри на меня,
узнай меня, сердце мое.

Я мчалась обратно, судьбу торопя,
Я время скрутила в дугу.
И ты мне ответишь:
— Я вижу тебя,
но только узнать не могу.

* * *

Вкруг заветного древа,
тяжела и мудра,
ходит нежная Ева,
неродная сестра.

Тихо руки светлеют
поперек живота —
что на свете сильнее,
чем ее правота?

И кормила, и мыла,
и рожала детей,
и стеной обводила
круг отваги своей.
И глаза закрывала,
темноту торопя,
и от счастья стонала
и роняла себя
на любимую руку...

Но угрюмый Адам
разольет свою муку
по ее сыновьям,

и помчится по жилам
наперед молока
неумолчный и лживый
холодок сквозняка,
и от пресного хлеба
и жилого гнезда
солью зимнего неба
переманит беда.

* * *

И снова привели меня дороги
в обетованный Крым и старый дом.
Прекрасные и юные, как боги,
друзья мои сидели за столом.

Цвела беседа, ужин простывал,
ночная мелочь билась над свечами.
И лучший друг, сидевший вместе с нами,
смотрел на свет и глаз не закрывал.

Потом открыли легкое окно,
хозяин вынес темное вино,
мерцающее в трехлитровой таре,
и застонал, припав виском к гитаре.

Счастливым петухом рассветный час
заголосил над нашим хлебом-солью,
но лучший друг, что умер раньше нас,
ни слова не сказал за все застолье.

Закрыл глаза и встал из-за стола.
И я сама, как тень, за ним пошла.

Над темнотой соседнего оврага
спокойно осыпался звездный мост,
степные травы выдыхали влагу
и с долгим хрустом уходили в рост.

Свежо запахло камнем и водой.
На горизонте потянулся город,
троллейбусы — десятый и шестой —
совсем пустые подымались в гору.

Белели обнаженные ограды,
редели тени, продолжалась жизнь.
И он сказал —
ко мне не торопись,
там ждать уже не больно и не надо.

* * *

А где-то на утреннем юге,
где время просторней и слаще...—
О чем я? — о друге, о друге,
о времени непроходящем.

О друге, о доме вчерашнем,
но столь удаленном и старом,
что медное небо Пиндара
сияет над морем домашним.

О доме за белой оградой...
Кудрявый, тяжелый, обильный,
какой виноград обобрали
и тискают в черной давильне

в святое с тоски и натуги
вино сквозь протяжные сита...
О чем я? — о море, о юге,
о доме, уже не забытом,

о доме, не знающем срока,
цветущем светло и богато,
любившем легко и жестоко
живущих и живших когда-то...

* * *

Мой ангел-хранитель живет у больниц,
стоит у дежурных аптек,
меня узнает среди тысячи лиц —
уж видно, что выбрал навек.

Он злыми ночами за печкой стоит,
стирает и варит обед,
мой ангел-хранитель годами молчит —
он знает последний ответ.

Он в пот мою душу изводит и в кровь,
сгибает мне спину дугой...
— Ах, что же все это? —
А это любовь.
Она не бывает другой.

* * *

Утро подымет косяк журавлиный,
и зацветет золотая долина.
Станут длиннее и снова короче
белые ночи и черные ночи.

В песне поется и в жизни ведется —
он уезжает, она остается,—
подстерегла нас година лихая:
милого друга в поход провожаю.

Так далеко, что любовь не догонит,
самый дозорливый глаз проворонит,
за поворотом дорога застонет,
ночь безответные росы уронит.

Так далеко, что ни силы, ни стати
не наскребу по сусекам и крохам...
Разве что жизни единственной хватит,
если бежать до последнего вздоха...

* * *

Скоротечный дачный быт
нежным месяцем воскресным,
зноем пристальным и тесным
к морю черному прибит.

Разноцветные потемки,
односложный разговор,
шельма, бабочка, поденка,
так и лезет на костер.

Чепуха. Конец сезона.
Бескорыстное тепло.
Камень вечного закона
южным ветром разнесло.

Закачало. Закружило.
Разорило догола.
Сдуру душу обронило
в опустевшие тела

и оставило с любовью —
то есть —
с маленькой, чужой,
обливающейся кровью,
неприжившейся душой.

* * *

Кладбище — смерти не ровня —
птицы, деревья, трава.
Звонко над камнем надгробным
плачет живая вдова.

Тонко блестит паутина,
дятлы долбят высоту,
темный, тяжелый детина
бьет кулаком по кресту.

К тихой беде не приучен,
воет, как зверь заводной;
тут бы свалиться в падучей
прямо на холм земляной

или напиться хотя бы...
Только вот нет никого...
Как ты насмелилась, баба,
бросить его одного.

* * *

Горит окно в большой ночи
над снежной крошкой.
Гудит, гудит огонь в печи,
кипит картошка.

И бедной сытости ночной
горячий воздух
плывет над маленькой землей
и плавит звезды.

И кто-то мается без сна
в чужом предместье,
перебирает имена
и копит вести.

Он времена переберет
и улыбнется,
а завтра из дому уйдет
и не вернется.

Как будто вправду он и был
любим и нужен,
как будто истинно спешил
на дальний ужин...

Зато какая благодать
в заботе странной —
сидеть ночами и не ждать
гостей нежданных,

скребя полы, творя обед
на кухне тесной...
Как просто спутать адский свет
и свет небесный.

* * *

Неожидан, как обвал,
открываясь с поворота,
этот город возникал,
отвергая все расчеты.

От поломанных оград
до прозрачных голубятен
был он тесен и горбат,
разноцветен и наряден.

Весь в смятении, в жару,
в сентябре, в огне, в расплате —
как дурак в чужом пиру,
расходившийся некстати.

И застенчиво вздыхал,
неопрятен и покорен,
и стыдливо затихал,
остывая возле моря,

и терялся за холмом,
и кончался как-то сразу,
словно каялся потом
за вчерашние проказы.

Но базарами дышал,
но краснел последней крышей,—
видно, что-то обещал,
только ты уже не слышал.

Феодосия

Она живет на выдохе, на воле,
в протяжном ветре, в средиземной холе,
натянута, как нежная струна...
Пройди ее окраиной лоскутной,
где дышат учащенно и беспутно
обобранные ею времена.

Здесь слаще ветер и крупнее звезды,
и страшно убедиться с высоты,
что точно и навеки скомкан воздух
и стиснут до овечьей тесноты.

С разбойного, бродяжного начала
она дышала кухней и причалом,
она дарила и сходила с рук,
легко смеялась с птичьего полета,
и все ее калитки и ворота
безжалостно разинуты на юг.

Приморская, сухая, продувная,
цветным тряпьем счастливо полыхая,
она стекает с раскаленных гор,
красавица, плясунья площадная,
уже почти своя, почти родная,
почти похожа на своих сестер.

Она срывает голос в общем хоре,
но так орет и так сбегает вниз,
как будто может выскочить за море
и повторить историю на бис.

* * *

Зимний воздух. Йодистый, аптечный
запах моря. Катерный маршрут.
На задах шашлычных-чебуречных
злые чайки ящики клюют.

Это тоже юг. И, может статься,
он еще вернее оттого,
что глаза не в силах обольщаться
праздничными светами его.

Только самым голым, самым белым,
самым синим и еще синей
страшно полыхает за пределом
бедной географии твоей.

От пустой автобусной стоянки
до пустого неба и воды
длятся невозможные изнанки
сбывшейся несбыточной мечты.

И, вдыхая воздух отбеленный,
попирая первобытный мел,
ты не знаешь, заново рожденный,
точно ли ты этого хотел.

* * *

Лес был слепой, капельный,
в утре, в росе, в дожде...
Леший ходил похмельный,
с блестками в бороде.

Леший стоял усталый
возле больших стволов,
лешему было мало
сытных лесных хлебов.

Как он хотел в долину,
где, позабыв о нем,
женщина гнула спину
над голубым бельем.

Леший боялся шума,
всхлипывал, как птенец.
Тихо стоял и думал —
вышла бы, наконец.

Лучше бы за грибами,
тропочкой, за холмы...
Встретиться бы глазами,
помнить бы до зимы.

* * *

Срыли сухие холмы,
сдернули старую кожу,
глянули в долгие тьмы —
как далеко и похоже —

молодость сладкой земли,
все мы — сплошные герои,
гоним свои корабли
к стенам незнаемой Трои.

Как нам еще все равно,
кто там за стенами плачет,
знаки заветные прячет
в темную скрыню,
на дно

времени — в самую рань,
в недра святого колодца...
Верную шкуру содрать —
что там еще остается —

молодость, утренний пыл,
счастье погони неправой,
медноволосый Ахилл,
быстро живущий за славой.

* * *

Да кто ты там такой? — зарвавшийся
сверчок,
блаженный рифмоплет, кочующий и
пьющий,
слетающий с небес за музыкой насущной
к вечернему питью в знакомый тупичок,

нахлебник болтовни, смешно довольный
взятком
с немеркнущих красот застольного труда,
застенчивый жилец, качающий украдкой
в двустворчатой строфе жемчужину стыда.

И на каких полях неведомых и за
какой иной водой цветет твой долгий
словник,
когда тебе его хватает за глаза,
чтоб выстроить собор, и вырастить
шиповник,

и выпростать цветок на улицу,—
постой —
как он растет легко, как он просторно
дышит
прабудущей весной, как он счастливо выше
классических садов...
Да кто ты там такой,

и по каким лугам без имени и прав
ты странствуешь сейчас,
и ты ли это,
если
ты просто горько спишь, свернувшись
в жалком кресле,
тетрадку уронив,
ладонь ко лбу прижав...

* * *

Не то бы весь народ степной,
горячий, пыльный и колючий,
пропал от страсти моровой
на нашей свадьбе неминучей.

Когда бы в предрассветный час,
безмолвствуя и тяжелея,
душа не сделалась древнее
любви, ошеломившей нас.

Когда бы яростный закон
и близость осени и снега
не выгоняли на поклон
искать приюта и ночлега,

не обездолили до срока
и не заставили самих
черты гнездовий родовых
разгадывать в полунамеках —

в тепле случайного костра,
в неверном счастье постоялом...

И смерть, как младшая сестра,
едва за нами поспевала.

* * *

У подножья пустого Мангупа
травы смяты дождем и любовью,
сторож спит, запахнувшись тулупом
и пристроив ружье в изголовье.

У него вековечное дело —
караулить лесные кварталы,

чтоб душа, обогнавшая тело,
воротившись, себя опознала

в нежном запахе меда и мяты,
в нашей верности долгой и пресной,
чтобы встали — как горы и бездны —
справа молодость, слева утрата,

чтобы знали мы, вольные люди,
чем земля нас томит и тревожит,
что она нас лелеет и любит
и что с нами расстаться не может.

Отошла отпускная неделя...
Но постой — погляди с поворота,
как сентябрь закрывает ворота
и дорога светла до апреля.

* * *

Зима проходит быстро, как во сне,—
темнеет скоро, медленно светает...
Так рано нынче выпал первый снег,
а вот уже февраль и крыши тают.

Просторно на заснеженной земле,
необозримо, ветрено, свободно.
Печален дух: ему не одолеть
простую силу истин обиходных.

Светлеют дни. Слабеют старики.
Темнеют тропы. Розовеют почки.
Два времени текут, как две реки.
Два голоса поют поодиночке.

— Скорей бы елка, снег и Новый год...
— Январь прошел, и свечи отгорели...
— Каникулы на целую неделю...
— Глядишь, и год невесть куда уйдет...

А доченька моя, как свет светла,
с утра сидит, бочком пригревшись к печке.
У доченьки моей болит сердечко —
так ей зима длинна и тяжела.

* * *

Снегом стучится в окно
свет отгорающих звезд,
ставшие прахом давно,
зерна пускаются в рост.

Горькая бабья трава
сухо топорщит цветки —
и обретают права
старые наши долги.

Темная, трудная кровь
сердце сжимает и жжет,
старая наша любовь
новой пожить не дает.

Выполю злую траву,
вымою окна росой,
птицей лесной заживу
между землей и грозой.

Снова отстрою жилье...
Словно душе невдомек,
что подпирает ее
под лубяной потолок.

* * *

Очнуться в цветущем больничном саду,
где маленький воздух над розовой веткой
раскручен пчелой
на весу, на виду
у окон приемной и окон мертвецкой.

Где воздух прохладен, а жизнь горяча,
пайковую кашу везут по палате,
сияющий ангел в крахмальном халате
и белой косынке стоит у плеча.

И старая птица в короне тугой,
похоже, что синяя,— только не видно —
не надо, не важно, уже не обидно —
колотит крылом и поет над тобой.

Легко доиграть небогатую роль
в такой стороне от утехи и славы,
в цветущем саду, где бесполые травы
готовы простить твою слабость и боль.

* * *

Анна Петровна стара,
сохнет, светлеет.
На солнцепеке с утра
косточки греет.

Сколько на свете тепла,
сколько погоды...
За молоком бы пошла,
если б не годы.

Тихие руки болят,
дело забыли.
Этак годков шестьдесят
верно служили.

Ей бы теперь отдохнуть —
память стихает.
Только не может уснуть —
сил не хватает.

Мучит ее тишина,
шорохи, звуки...
Если б не эта война,
были бы внуки...

Капли ненужные пьет,
дышит неровно.
— Жизнь-то на убыль идет,
Анна Петровна?

Вот уж натешилась всласть —
била, мотала...
Может, уже нажилась?...
— Как не живала.

* * *

Ты свою жизнь, как врага, извела,
за мужиком, как за светом, ходила.
Черной прислугой при мне прожила.
— Видно, любила.

Век я верчусь у чужого огня,
я забываю тебя, как умею.
Что же ты, дура, не гонишь меня?
— Видно, жалею.

Я от тебя, как от смерти, бегу.
Ты меня памятью вяжешь и гложешь,
словно я жить без тебя не могу...
— Видно, не можешь.

Слава

И молодость ушла. Но убыль плоти
вдруг обернулась страшной красотой —
так в парусе причаленном порой
полета больше, чем в самом полете.

Как будто близость бездны и закон
движения по замкнутому сроку
сулят душе особую дорогу
и мужество особое.
И он
не постарел.
Ни страхом, ни тоской
не ранили его былые споры,
и мыслей баснословные соборы
отстроились светло и высоко.

Спаленная до черной сердцевины,
твердела жизнь почти сама собой,
но времени просторные корзины
так пахли виноградом и землей,
так молодо разгладилось чело,
как будто отошли и стихли грозы,
и только та, безглазая, ждала
и белым светом темя обвела.
И вот тогда он перешел на прозу.
Вчерашний гений, путаник и мот,
он копит страсть на медленную строчку,
он скупо дышит, долго ставит точку
и слушает, как ночи напролет
чужая юность, сплетница и сводня,
счастливо-беспощадна и права,
таскает по дворам и подворотням
его уже ничейные слова.

* * *

Осели сугробы, запели овраги,
сиротские гнезда качает ветла...
Не столько уж нужно ума и отваги,
чтоб вдруг разобрать, что зима отошла.

Довольно капели и пыла былого,
чтоб сердце поверило без маеты,
что горькая надоба крыши и слова
оставила нас до грядущей беды.

Довольно дождаться весеннего срока,
услышать синицу за левым плечом
и словно увидеть с горы и с порога,
что было когда-то и будет потом.

Виски надрываются грозно и гулко,
и март, как всегда, безобразен и прав.
Но все-таки ходит Орфей в переулке,
стыдливо свирелечку пряча в рукав.

Танец

1

Ветер, уставший раскачивать сад,
сбил напоследок флюгарку на крыше.
В доме устали и весело спят,
руки раскинув, и больше не слышат,
как за оградой деревья шумят,
как затевается рай или ад —
снежно, темно, высоко, невесомо...
Вдоль неподвижно плывущего дома
гнутся пространства и ветры гудят.

Дочиста вымела землю зима,
перекрутила, представила снова
непостижимой закону и слову
и недоступной потугам ума.

Не покушаюсь назвать и понять:
нежность довременна, страсть неуместна.
Ночь отстоялась и катится вспять —
в чистую правду начального жеста.

2

Подсказанная памятью земной,
глубинной, кровной, росной, травяной,
разверзлась высота над головой
и бездна под большими этажами,

когда мальчишка с челочкой на лбу,
перелукавив тяжесть и судьбу,
взмахнул над миром легкими руками.

И музыка, какой она была
до птичьего свистящего крыла,
до потного людского ремесла,
опомнилась и стала ощутимой,
цветком раскрыла узкую щепоть
и сделала ликующую плоть
почти одушевленной и любимой.

Вернулась по нехоженым следам,
открыла очарованным глазам
забытую незнаемую землю,
где самый юный, самый первый бог
себе обличья выдумать не мог
и был подобен облаку и стеблю.

Но точно так же безымянным днем,
который мы украсили потом
веселым ликованием и елкой,
сторуким чудом пляшет над ручьем,
качает звезды голубым плечом
и топчет разноцветные осколки.

3

С каких неожиданных пор,
кузнечик, циркачик, танцор,
страшнее чумы моровой
любить твой язык травяной.

Пойди, угадай, предскажи,
на горло ладонь положи —
кто может узнать наперед,

как дождь по стволу потечет,
как станет коричневый зной
качаться над черной землей.
Узнай, покусись, назови,
опутай силками любви —
разгадка, ответ и отказ
не в том ли, что где-то до нас,
до правды, открытой речам,
до формы, понятной глазам,
пока не учила слова
послушная арфе трава,
земли молодая душа
была,
  и была хороша.

4

Не легкий гений птицы поднебесной,
но юная и грозная свобода,
вздымающая утренние бездны
за тыщи лет до нашего прихода.

Покуда мы молчали и твердели,
спеленутые в зыбкой колыбели,
доглиняной, долиственной и тесной,
Вы царствовали в мире бессловесном.

Какая Вам обида и преграда
в смешных стараньях младшего собрата,
в наивном слове и прекрасной боли
достигнуть Вашей создающей воли,

вращающей планеты и пылинки?..
Опять перед лицом слепого танца
стою в пустой короне самозванца
под знаком маски, дудки и волынки...

Лилит

— Что ты плачешь, Адам,
что ты криком кричишь по ночам —
разве дом твой не полон
и жены твои не красивы?
Что ты зверем бежишь,
припадая к забытым следам,
что ты празднуешь грозно
приливы мои и отливы?..
— Отойди от меня,
отпусти мою душу, отдай,
не смотри на меня
из-под каждой руки торопливой.
Не суди, как судьба,
не гони, как беда и вражда,
дай ты мне господином
дожать свою скорбную ниву.
— Что ты знаешь, Адам,
чем ты можешь ушедшим воздать —
своим словом неверным,
утехами брачной постели,
если я окружаю тебя,
как земля и вода,
и кукушкой кукую
у нежной твоей колыбели?
— Ты заполнишь мой дом,
я уйду и построю другой
и ворота запру.
Я тебя прокляну и покину.
Я уйду от тебя
и вернусь, когда стану землей
и травой прорасту
сквозь твою милосердную глину.

* * *

Не праздник молодой, не музыка ночная —
и душу извела, и голос иссушила.
Да кем бы ни была сестра моя родная,
собой бы не была, когда б не научила

и в черном теле жить,
и гнуться в черной школе,
и пить с чужой горсти дареными глотками:
пониже наклонись —
в зерне узнаешь поле,
повыше погляди —
возьмешь звезду руками.

С собой меня сравни,
и я поверю в сходство,
с травой меня сравни —
я стану ей когда-то,
и вековая боль вселенского сиротства
от сердца отойдет — и я оплачу брата.

Ты был моим теплом, и придорожной пылью,
и нивой золотой, и кровью виноградной,
и солью всех трудов,
и тяжестью могильной —
любовь, как чернозем, черна и беспощадна.

* * *

Туман. Туман. Костер горит в тумане.
Хоть пой, хоть вой,— не разберут впотьмах,—
как будто птицу прятали в кармане,
да так и придушили впопыхах.

Лицом в туман, в размытый войлок плоти
земной, небесной,
в сумрак меловой —
оступишься на белом повороте
и грянешь в бездну книзу головой.

Тогда зачем костер горит на круче,
зачем живут приметы естества —
сквозняк остудный и туман ползучий,
холодный дождь и мокрая трава.

И что мне тут — родное пепелище,
любимый дом, нора в сухом стогу,
кого душа, как маленькая, ищет
на залитом дождями берегу.

* * *

Мы прошли уже на ощупь
за своим поводырем
через мостик, через площадь,
по дороге и потом

в переулок непроглядный,
в опрокинутый чердак,
в тесный, влажный, виноградный,
темно-августовский мрак,

в треск цикад, в сухие звоны
невесомого труда,
в жарко дышащее лоно,
в бесконечное туда,

где у скомканных обочин,
у колодца, у реки

молодой хозяин ночи
ставит сети и силки,

чтоб до самого рассвета,
в долгожданной темноте
выкликали: где ты? где ты?
потому что он нигде.

* * *

Уже дымком несет издалека,
уже завел небесный музыкант
мелодию осеннего разлада —
и, значит, скоро допоют в углу,
и достучит стаканом по столу
веселый бог вина и винограда.

Отходят дни, просторны и щедры.
На крымские счастливые дворы
ползет туман легко и вороватo.
Вытряхивают лето из корзин.
Простая связь торжественных причин
рассыпалась, и правда виновата.

Неправедные, мы живем вдвоем,
зажав в губах сокровище свое —
живое слово, сказанное точно,—
оно почти засыпано листвой,
продуто ветром, и сухой молвой
перетолкован истинный подстрочник.

Такая откровенная пора,
что нам земля — сестра и смерть —
сестра...

О пощади нас, младших и бескрылых,
повремени с последним торжеством,
не смешивай с туманом и травой,
пока зима еще не наступила.

* * *

Тут уж только ты да я —
остальное шито-крыто.
И сама себе судья
и сама себе защита.

И сама себе жива,
и опора, и порука,
незаконная подруга,
полноправная вдова.

Постояла, промолчала,
продышала наугад
все, что я тебе сказала
ровно смерть тому назад.

* * *

И начинается доля моя
там, где ребенок стоял у ручья,
где в медуницах цвела тишина
и загремела большая война.

Дети военных, пылающих дней,
вечных солдат и седых матерей,
мы подпирали собою страну,
перемогая беду и войну.

Танковый город, картофельный тыл,
частые звезды солдатских могил,
наш госпитальный, железный приют
и долгожданный Победный Салют.

...Возле ручья у заветных ракит,
там, где ребенок стоял и стоит,
не перешел через дальний ручей —
так и остался нигде и ничей.

Так и остался горячей землей,
дымом летучим и белой золой,
совестью горькой,
                    и с этого дня
братья мои догоняют меня.

Не отпустила им злая война
личной судьбы,
                    и, навеки равны,
смотрят сквозь время во все времена
детские лица героев войны.

* * *

Возле дороги лиловая тень,
белая пыль на откосах,
ослики тащат немереный день
на деревянных колесах.

Сыплет небесная манна моя
ягодой, вызревшей к сроку.
Дальше дорога, черней колея,
гуще и слаще от сока.

Ослики тянут медовую снедь
в недра горячей погоды,

в нежное золото, в мягкую медь,
где плодоносные своды,

птичьими леткими часто дыша,
ходят все тише и туже...
— Ваша шелковица так хороша.
— Ваша нисколько не хуже.

В звездах и кляксах —
уже все равно,
что там — цветок или птица,
и безразлично — в какое окно
выглянуть и восхититься

твердостью неба, течением вод,
шелестом в ягодных кущах...
За две долины от наших забот
яростных, быстротекущих...

* * *

Так грозно во мне убывает природа,
что время летит напрямик.
Но живы мои херсонесские своды,
но крепко вросли в материк.

Но так на пределе, но так на просторе,
но так у сплошных берегов,
что манит и манит в огромное море
дельфинья улыбка богов.

* * *

Дыханием, желанием единым
утрату одолеть и превозмочь,
осилить два коленца соловьиных
и повторить торжественную ночь

с боярышником тесным и пахучим
в древесной влажнодышащей толпе,
где мелким блеском, кратким и колючим,
блестит кремень на выбитой тропе,

где наши разноцветные палатки
большим венком уложены в траве
под берегом, где ласточки и лодки
живут в таком стремительном родстве,

что ты, устав от долгого ночлега,
от легковерных дружеских забав,
перелетел по лодкам через реку,
реки не расплескав.

ГОЛОС ЧИСТЫЙ И ЯСНЫЙ

Исповедальная, и светлая, и горькая, поэзия Майи Никулиной дорога мне с первой книги «Мой дом и сад». Хрупкая прелесть и в то же время суровая стойкость, жизненность ее строк напоминает и наши северные русские травы, и тот южный «сухой терпеливый цикорий», что «до самого снега цветет».

Никулина вообще травяная: мята, мыльный корень, «крахмальная лебеда»...

Объясняется это просто: полным слиянием с природой; она как бы переводит свои стихи без подстрочника, сразу набело с древесного листа, с шума ветра, с речного плеска, она не очеловечивает природу, ибо автор и природа одноликие, как все влюбленные друг в друга.

Мы тоже лес, цветы и травы в поле.
В нас та же тайна, суть и благодать.

«О чем ты печалишься, мастер, в часы своего торжества?» — это чувство неутомимого, ненасытного поиска, недовольства собой очень характерно для автора. Потому-то и появляются у Никулиной великолепные строки, где точность прямого смысла не уступает глубине символического, где точка зрения становится точкой прозрения:

Просто я иду в ночной пустыне
и уже не вижу с высоты,
как цветут в оставленной долине
черные и белые цветы.

Таких строк о душе и природе у Никулиной много.

Но откуда же эта чуткая, проникновенная душа? «Расстрелянное время распрямилось, вдохнуло смерть и выдохнуло нас» — вот откуда эти нынешние «поэты, голодранцы, крикуны, живые дети смерти и войны». Лгать, фальшивить, срывать с неба сусальные звезды они не умеют. За их плечами народ, вдовы, павшие солдаты, суровая школа военного детства.

...железная бабка моя —
бархатный взгляд, соболиные брови —
вышла на запах пожара и крови
биться за правду семьи и жилья.

Но и это великое горе, навсегда опалившее душу, отболит, сгладится, «беда оберется весной» — таковы уж круги души и природы. И над бытом, над круговертью дней звучит чистый пророческий голос — о неизбежности счастья, о праве жить, любить, дышать. И этому голосу безоглядно веришь.

Алексей Решетов

СОДЕРЖАНИЕ

Братское поле

Разговоры со степью

Долина

Майя Петровна
Никулина

БАБЬЯ ТРАВА

Редактор С. В. Марченко. Художник А. И. Михуля-Морозов. Художественный редактор В. С. Солдатов. Технический редактор Т. Н. Черепанова. Корректоры И. В. Лаврентчук, Т. А. Дрябина.

ИБ № 1516

Сдано в набор 24.04.86. Подписано в печать 22.12.86. НС 12280. Формат 70×90¹/₃₂. Бумага типогр. № 1. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. печ. л. 4,7. Усл. кр.-отт. 4,8. Уч.-изд. л. 4,5. Тираж 5000. Заказ 476. Цена 50 коп.
Средне-Уральское книжное издательство, 620219, Свердловск, ГСП-351, Малышева, 24. Типография изд-ва «Уральский рабочий», 620151, Свердловск, пр. Ленина, 49.



50 коп.



СВЕРДЛОВСК
СРЕДНЕ-УРАЛЬСКОЕ КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
1987